

Андрей Мисюрин

ОЗЕРО,
полное блеска

Андрей Мисюрин

Озеро, полное блеска

<https://litres.ru/74633797>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сборник стихов. Читать можно и в горе, и в радости. Не подведут, укрепят, повеселят, поставят мозги на подобающее им относительно высокое место.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Андрей Мисюрин

Озеро, полное блеска

Глава

— Купил в комиссионке клавесин —

Купил в комиссионке клавесин.
И день и ночь теперь на нем играю.
У дома — толпы радостных разинь,
Хотя мелодий я не выбираю.
Гуляют пальцы сами, где хотят.
Свободен сам — освобождаю тело.
Я пальцам предоставил звукоряд,
Зато душа моя не отлетела.
А может, ей и незачем лететь?
Она вполне обласкана звучаньем.
А скоро я еще освою медь
И дам простор мелодиям случайным.

— Здесь просто комната —

Здесь просто комната. На заднем плане стол.

Да нет, не стол, а просто – круглый столик.
Он лёгкий, из соломы. Был бы он тяжёл,
То был бы кованый, на тонкой ножке твердый нолик.
А рядом стул. Нет, нет, конечно же не стул.
Придвинем к столику какое-нибудь кресло.
В него усядусь я, и буду я сутул.
Нет, не сутул, а молод и с невестой.
Невеста на балконе за моей спиной.
Свежа, конечно же, и смотрит на дельфинов.
Дельфины в море. В море не земной,
А очень водный цвет. Конечно, очень синий.
А может даже за спиной моей жена.
И вдруг окажется, что я не так уж молод.
Тогда бутылка красного нужна.
Пусть будет предо мной. Пусть осень. Дождь и холод.
Но больше всё же лето подойдёт.
Под Ялтой лето, это лучше для дельфинов.
Пусть даже отмотаю я вперед
Свой календарь. И пусть я даже сгину.

— Кончилось лето —

Лето кончилось. Осень с задержкой
холода свои в город несёт,
но кроссовки уже на пробежке
пробивают на лужицах лёд.

Всё ещё мы выходим без шапок
и без курток идём налегке,
но встречает нас осени запах
на янтарном её коньяке.

Листьев медь до последней прожилки
сквозь хрустальное утро видна,
небо синего, сколько б не жил ты,
непонятна ещё глубина.

На стекле лобовом среди трещин
утром клёнов лежат пятерни,
и звучит ветер музыкой вещей, -
лучше лето, мне ветер, верни!

И рукой я смахну по старинке
со стекла красных листьев пучок,
и блестящей ожившей снежинкой
побежит небольшой паучок.

— Солдатский дом —

Только глина и дерево. Дом был непрочно построен,
но уже простоял на земле этой больше ста лет,
все эпохи насквозь, за которые местные Трои

разрушались не раз с перерывом на сон и обед.

В этом доме всегда ели сельдь и варёный картофель, пили чай со степным горьковатым на вкус чабрецом, европейцы анфас, азиаты покладкой и в профиль, крепки духом и телом, и в войнах прошиты свинцом.

От старинной лозы по земле разошлись виноградом, благородным вином были в новые влиты мехи, кровь живая страны, полководцы и просто солдаты необъятной империи, взятые в мир от сохи.

— Дорога на Ай Петри —

Мы долго забирались на вершину,
остановившись раза два в пути.
Дорога всё вилась по серпантину,
но ехать всё же легче, чем идти.

Петляли целый час мы по "зелёнке",
в прохладе сосен скрывшись от жары,
какой-то птицы тенькал голос звонкий
и тонко подпевали комары.

Прокатный "Опель" землю чиркал брюхом,
дрожала тёща, ну а тесть молчал

и речи, неудобные для слуха,
держал в себе. Но вот и перевал.

Какие-то строения, парковка,
шипит в кипящем масле чебурек.
По кочкам, перепрыгивая ловко,
бежит навстречу местный человек.

Бежит он, но его опережают,
всегда найдутся те, кто порезвей,
и четверо уже нас окружают,
приветствуют как дорогих гостей.

Стараясь перебить один другого,
нам предлагают поскакать верхом,
поест шашлык, купить себе спиртного
и из бараньей шкуры балахон.

Но мы благодарим и едем дальше,
стараясь никого не задавить,
торговцы, растеряв остатки фальши,
нас в спину начинают материть.

Мы подъезжаем к самому обрыву.
Под нами моря синий цвет разлит,
ведь сказано про мир наш справедливо, -

он из воды во многом состоит.

Мы стали вровень вместе с облаками,
внизу полоска суши, городок,
и горы невысокие за нами,
и под ногами вечности порог.

Тесть, выходя из Опеля "консервы",
свободу дав измученным ногам,
сказал: "Поставь здесь пару бэтээров
и вылитый получится Афган."

— Сказочный замок —

Недалеко от Мюнхена, езды не больше часа,
кончается Германия сосисочного мяса.

В стаканчиках базальтовых здесь вечность заморожена,
альпийская заоблачность взамен пустопорожного.

У самого подножия той выпренной гористости
здесь замок романтический на радость людям высится.

Баварским глупым кёнигом тот замок был построен,
мечтателем и гомиком, и вовсе не героем.

Не очень-то старинная постройка камня белого
влечёт к себе туристов, из них здесь деньги делают.

Полна мощна баварская копейкою приезжего,
за свинство любопытствовать умеют здесь удерживать.

Когда ещё ты в силах и крепкая скотина,
иди пешком ты к замку вверх по серпантину.

А если слабоватый, одышливый скиталец,
садись тогда в повозку, храни свой жир и смалец.

Тебя, навоз роняя, упряжка битюгов,
дотянет, как родная, до самых облаков.

Есть достопримечательность у самого подножия:
в старинном ресторанчике ждёт сладкое прохожего.

Опудренные сахаром здесь пончики отменные,
едят их здесь десятками, и с кружечкой глинтвейна.

Затем, когда насытишься, в толпе таких, как сам ты,
япошек и китайцев шагай за чудесами.

И там, за поворотом, вливайся смело в очередь,
купи себе билеты, и милой тёщи дочери.

И в час затем назначенный с толпой других туристов
скорей врывайся в замок, бери его на приступ.

Своих незабываемых пятнадцати минут
ты проведи хозяином в баварском замке тут.

Узнай, где почивал король, на троне чем сидел,
что ел и пил, о чём мечтал, когда в окно глядел,

как совращён был Вагнером, забросил все дела,
и как братва баварская с поста его смела,

как ранним утром Людвига поймали прямо в спальне
и в ссылку вместе с доктором отправили нахально,

и где всего-то пару дней в стенаниях и воплях
смог провести он, а затем был с доктором утоплен.

Когда же ты на божий свет из мрака замка выйдешь,
то селфи сделай, и – вперёд, куда-нибудь на лыжи,

но перед этим запиши в каком-нибудь дейвайсе
название замка – Нойшванштайн, не то забудешь сразу.

— А может был расстрелян Достоевский? —

А может, был расстрелян Достоевский
и все мы – лишь его загробный мир?
И всё, что видим мы, вполне уместно,
и Маркс, и Энгельс, даже ленинский клистир?

Об этом ли вселенском геморрое
печаловаться нам да горевать?
Мы лишь – литературные герои,
всё та же чернь и грёбаная знать.

Всё то, что так похоже на химеру,
химерой и является. В бреду
есть те, кто всё грустит по эсэсэру,
есть те, кто в лысых верит какаду.

Есть те, кто верит им, придурковатым
несвежим книжным юношам в очках,
но лишь на неизвестного солдата
надеются, когда приходит враг.

И в ящике – не некто долбанутый
вещанье непрестанное ведёт,

а классиком в свободную минуту
свободносочинённый идиот.

Вошли в эпилептические сферы,
в мерцание невротической среды
мы только по причине высшей меры,
как пулевые в черепе следы.

Уместен даже выродок уханьский
размером всего в тридцать килобаз,
когда весь мир – как лагерь арестантский,
как Фёдора Михалыча рассказ.

— Все те, кто разместился целиком –

Все те, кто разместился целиком
толпой нестройной там, в XX-том веке,
кого любил, с кем просто был знаком,
кого не знал, – все были человеки,

какими мы и в нашу меру сил
стараемся пребыть и в наше время,
кто в новый век спеша, переступил
барьер невидимый, рассыпавшись, как семя,

по незнакомым, в общем-то, местам,
лишь наспех приспособленным для жизни,
среди лежащих всюду, zde и там,

тех чресл, из которых все мы вышли.

— Крестьянский быт уже не тот —

Крестьянский быт уже не тот,
и в старых избах по деревне
за ради отдыха живёт
потомок хлебопашцев древних.

Живёт не так как было в старь
общины сельской член отпавший,
а наезжает как мытарь
на эти пажити и пашни.

Пуздо футболкой обтянув,
с недавних пор столичный житель,
по пробкам мается, в длину
шоссе забив как накопитель,

в субботу ломится с утра
по Щёлковке и Ярославке,
чтобы доехать до двора,
где было семеро по лавкам,

а нынче, сайдингом обит
и полон грустных приведений,

дом прадеда ещё стоит
среди заморских насаждений.

— Весенний воздух в городах тяжёл —

Весенний воздух в городах тяжёл
и жителям он нагружает плечи,
лишь только за порог ты перешёл,
густая изморось летит тебе навстречу,

и ты идёшь сквозь мелких капель рой,
один из многих, молодых и старых,
неотделим от общности сырой,
нестойко расфасованной по парам.

— Лейтенантик Коля —

В бою случаются ранения ноги,
а у него прострелянными оказались обе,
там, в сорок первом под Москвой, не думали враги,
что встретит их и остановит лейтенантик Коля.

Он бил их как учили и как верил сам,
что нужно бить их, наглых, выращенных в холе,
бить по мозгам, по суслам, по усам
в окопе, в ДОТе, в танке, в чистом русском поле.

Бить так, чтобы до самых потрохов дошло
всех тех, кто выживет, до их детей и внуков,
что зло всегда найдёт возмездие за зло,
и чтоб не позабыли сей науки.

Бить так, чтоб вспять они бежали без подков
в свои германии и смирно в них сидели.

Вот так и бил их Коля Третьяков,
а у мальчишки волосы седали.

— Поселок Хобда —

Всего-то от города сто километров,
и мог бы я даже пробиться пешком
сквозь колкий песок раскалённого ветра,
в низину спускаясь, взбираясь на холм,
едва различая лисицу и волка, -
добраться туда,
где речушка Хобда
в то лето зелёным своим языком
ступни омывала степного посёлка.

Посёлки, аулы, немецкие дорфы,
чечены, казахи, хохлы, русаки,
немного свободны, слегка поднадзорны
в землянках сжигали зимой кизяки,

а летом в степи их в мешки собирали,
слагая у окон своих в пирамиды
коровьи лепёхи, тепла каравай,
смешной инструмент сохранения вида.

Герои войны, стукачи, доходяги,
гимнастки, шоферы, врачи, чабаны
по выжженной глине, на собственной тяге,
по собственной воле трезвы и пьяны,

брели к коммунизму, детей и арбузы
растили в полыни почти без полива,
не в тягость стране, никому не в обузу,
фронтир, чингачгуки и леди Годивы.

Дудаев Муса по набору нацменов
из ссылки суровой пробился в актёры
и в "Белое солнце пустыни", нетленно,
верхом он уехал как в некие горы.

Уехали многие, в радость и горе,
в германии, штаты, осколки России,
сменили пустыню, коль сказано в Торе,
что где-то ещё не встречали Мессию.

Но там, где речушка ещё омывает
тоску лопушиную жаркого лета,
восходит по небу звезда молодая
и сходит на землю мерцающим светом.

— Сентябрь —

В небольшом городке, где стаканы берут в мельхиор
или тянут звенящую медь в без конца убегающий кабель,
зацепился сентябрь за гвоздь, вбитый в старый забор,
ненароком плеснув на асфальт обжигающих капель.

Телогрейка его затрещала и пухом и прахом пошла,
желтизной полетели клочки по заулкам сырым и суровым,
где невнятная речь стариков и младенцев груба и пошла,
и где нежность питают лишь к дойным усталым коровам.

И, дыхнув перегаром, куснув, захрустев огурцом
малосольным, и запах развеяв чесночный,
он ещё посидел с чьим-то братом и чьим-то отцом,
громыхнув напоследок железной трубой водосточной.

— Мне кажется, что всё-таки не здесь —

Мне кажется, что всё-таки не здесь,
а где-то там есть кое-что другое, -

на этой мысли, словно на подвое,
дорога держится, и озеро, и лес,

и я иду под синевой небес,
скользя уже куда-то вниз по склону.
Должно быть, я спускаюсь к водоёму,
чтоб замереть там с удочкой иль без.
— Цвела обильно Родина большая —

Цвела обильно Родина большая
в конце далёких тех пятидесятых,
и на перроне, поезд провожая,
сидел солдат на корточках когда-то.

В стекле киоска виден был Никита.
В газете "Правда" разворот о кукурузе.
Солдат водил по голове обритой
кусочком мыла с запахом арбуза.

Его сперва он очень долго нюхал,
неторопливо снял с него обёртку,
потом он к мылу прикоснулся ухом,
затем щекой прошёлся словно тёркой,

потом по лысой голове три раза
провел он мыла розовое тело,

чтоб, коль была б там, всякая зараза
от гигиены той бы отлетела.

И так сидел он долго на перроне,
на корточках, покачиваясь телом,
и был солдат за Родину спокоен,
и на его груди медаль блестела.

— Я тот птенец, что выпал из гнезда —

Я тот птенец, что выпал из гнезда.
В награду за избыток любопытства
узнал я, что скрывает пустота
и как о твердь земную не разбиться.

Без оперенья, только лишь в шерсти,
могу летать я, не слезая с печи,
и лет уже, наверное, с шести
веду я недозволенные речи.

Засматриваюсь. Волю дав рукам,
несбыточное огребаю часто.
Положенное счастье дуракам
ко мне все льнёт как верный признак касты.

Как Сирано сую свой долгий нос

в твои дела. Тебе, полужнакомой,
я многих слов еще не произнес,
каких ты не дала б сказать другому.

До белого каленья высоты
я доберусь, в печи спалив поленья,
которые рассматриваешь ты
как некие словесные явления.

— Постовой —

Серо, сыро. Город вымер. Только в маске голубой
на пустынном перекрёстке мент зияет постовой.
Маска рот его прикрыла, а над маской нос торчит,
всё, что мать не дородила, доработали врачи.
Он стоит, угрюмый витязь, двести пять его костей
под сукном казённой формы город делают пустей,
нет ни имени, ни званья, ни покоя нет, ни сна,
мимо лето, следом осень, а затем — зима, весна.

— Альфа и омега —

Там где альфа и омега
Между небом и землею
Гроб качается сосновый
Тесной туфелькой хрустальной

И мелодии фальшивой
Полупьяного оркестра
Задаёт печальный ритм
Старый желтый барабан.

Пахнет ладаном и хвоей
Мерно шаркают подошвы
А вороны на березе
И черны и неподвижны
И усталых музыкантов
От простуды до забвенья
Отделяют два-три шага
И всего лишь три рубля.

— Черный Квадрат Филимонова —

Немая сцена Черного Квадрата.
Засиженное мухами стекло
лишь только Филимонова влекло,
а публика все двигалась куда-то.
Простые люди выходного дня
стекались к ярко брызнувшему палитрам
и льнули, словно к праздничным поллитрам,
к удушливому месиву огня.
А Филимонов, словно вышед не отсюда,
нездешне в синих сумерках парил

и потому квадрат заговорил
так внятно, словно звякнула посуда.

— Мир многомерный множества хранит —

Мир многомерный множества хранит
В коробочках, салфетницах, комодах,
В корзинках, туесах и сундуках,
За шелковой подкладкой, в портмоне,
В конвертах неотправленных посланий
И в тесных тюрьмах писем нераскрытых.
Хранит в свечах бегучий свет и воск,
Освобождая в вечер холокоста,
Хранит в тепле колен, сведенных вместе,
В атласных складках сгибов локтевых,
В шкафу неловко втиснутым скелетом
И в детской комнате портретом Дориана.

— Переводчица —

и потянется набережная неспешно,
сдержанно прислушиваясь к разговору,
столбenea чугуном, литым узором,
чиркая о каблучки камнем грешным,
сожалея лишь о том, что лежит под спудом
что не может трёпом поддержать трепет

королевы переводов, парашютистов,
пешеходов и дельтапланеристов

— Розеттский камень —

Меж землею и веками
С поседевшими стихами
Был сокрыт Розеттский камень,
Тяжким временем храним.
Прах людей лежал над ним.

Годы шаткие ветшали.
Дамы пышные блистали,
Но их платья все же стали
Зыбкой ветошью и сном,
И лишь тлен их был весом.

В тесной клетке строк умерших
Время выедало бреши,
И для конных, и для пеших
Путь вился в один конец:
Лишь родился – уж мертвец.

И синицы разлетались
Из летка тяжелой стали,
Бесконечную усталость

Разносили по мирам.
Зарастали язвы ран.

Позабыт сует мелькавших
Тяжкий холм. И сизый кашель
Бога смертного. И сажа
Пёкших хлеб печей. И труб
Кирпичи распались вдруг

И осыпались листвою
Среди пепла пестрым роем.
Кто судьбу твою откроет,
Ты, пришлец из тьмы веков
В тяжком бремени оков?

В лоне Франции далекой
Крик младенческий из легких.
И священник вывел строки
Старой немощной рукой:
"Шампольон крещён был мной".

Шампольон розовощёкий
В мир открыл две узких щёлки
И наполнил вечным соком
Развивающийся мозг:
Не жалел учитель розг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.